

Троя как компаративный узел. Опыт осады в контексте новых гуманитарных наук

Аннотация:

Темой статьи является дегероизация образов осады города в современной литературе. Автор представляет соматическое измерение военного опыта, анализируя мотив голода, сравнивает образы осады Ленинграда и Сараево в контексте Истории и микроистории. Обнаруживает сходства (ментальные сценарии) и различия (пафос vs гротеск), которые образуют «компаративный узел». Автор уделяет внимание также проблеме подавления современного мартирологического дискурса по причинам идеологическим и ментальным. Методологический контекст образует так называемая новая компаративистика, ориентированная культурологически и антропологически.

Ключевые слова:

осада, Ленинград, Сараево, мартирологический дискурс, современность.

Anna LEGEŻYŃSKA
(Poznań)

Troja as a comparative landmark. The experience of a siege in the context of the new humanities

Abstract:

The article concerns the deheroization of the images of a siege in modern literature. The author exposes the somatic dimension of wartime experience analyzing the motif of hunger. She compares the images of the siege of Leningrad and Sarajevo against the background of the Global history and micro-history. She discovers similarities (mental scripts) and differences (pathos vs. grotesque), which form the «comparative landmark». The author also deals with the problem of suppressing modern martyrological discourse for ideological and mental reasons. The methodological context is represented by the so-called new comparative studies of literature, oriented both culturally and anthropologically.

Keywords:

siege, Leningrad, Sarajevo, martyrological discourse, modernity, modern age.

В европейской культуре метафорика Осажденного города отсылает к двум разным историям: Трои, взятой штурмом греками после десяти лет осады, и дважды осаждавшегося Иерусалима (сперва римлянами в 79 г. до н.э., а затем, в 1099 г. — армией крестоносцев). Повествование о Трое было вписано Гомером в тиртейский героический дискурс, осада Иерусалима относится к религиозному дискурсу, значимым ответвлением которого в современной культуре является дискурс мартирологический (в польской культуре доминирующий с XIX в.).

Гомер в «Илиаде» изображает богов, героев, царей, воинов, но мало рассказывает о судьбе мирных жителей, упоминая разве что о «женах и младенцах невинных»¹. Однако на протяжении десяти лет осады троянцы должны были рождаться, взрослеть, стареть, умирать — их биологическая жизнь шла своим чередом. Страдали ли они от депрессии или клаустрофобии, мучили ли их болезни, холод и голод? Условность и функции эпического жанра позволяли обойти подобные вопросы. Предсовременный тиртейский дискурс, подчиняющийся принципу *decorum*, пренебрегал всем, что относилось — как определяет это Бахтин — к «материально-телесному низу»², а следовательно, и физиологической стороной существования осажденных. (Отступления от данного принципа, вероятно, следовало бы искать в творчестве плебеев, однако это выходит за рамки проблематики настоящей статьи.) Современность привлекла внимание литературы к телесности любого экзистенциального опыта, в том числе военного. Переломное значение в этом отношении имела Первая мировая война и ее отражение в текстах культуры: литературных произведениях, исторических исследованиях, изобразительном и театральном искусстве, кино. Все они являются попыткой воплощения невыразимого опыта травмы, страданий человека, выброшенного на арену истории.

В литературе Нового времени Осажденный город становится метафорой кризисного сознания. Традиционная область значений этой метафоры расширяется за счет ностальгических или иронических аспектов. Контрапунктом к традиционной *семиотике героизма и жертвы* выступает теперь *семиотика абсурда*. Трагическая насмешка, ироническая параболизация судьбы осажденных, фаталистическое видение истории и человеческой участи — все это мы обнаруживаем в романе-параболе Альбера Камю «Чума» (1947) или в футурологической антиутопии Джорджа Оруэлла «1984» (опубликован в 1949 г.).

Если говорить о польской поэзии XX в., мотив осады имеет ключевое значение для интерпретации творчества Збигнева Херберта, знатока античной культуры и «хранителя» этоса стойкости. Присутствующий в стихах и в очерках Херберта предсовременный *полис* контрастирует с негативным образом современной *утопии*³. В поэтическом сборнике «Рапорт из осажденного города» (1983), который вышел во время введенного властями ПНР военного положения, *полис* представляет собой образ, место, которое несет в сознании поэта совершенно определенную этическую нагрузку. Основная метафора отсылает к традиционной парадигме (Вечный город, великое наследие античности), а также к парадигме философии и историософии XX в. Таким образом, город Херберта есть моральный депозит, которому угрожает тоталитарное варварство. Его защитники стоят в одном ряду с легендарными героями. Это, как говорится в знаменитом «Послании господина Когито» Херберта (1974) — потомки непоколебимых предков: Гильгамеша, Гектора, Роланда.

Стихотворение Херберта, озаглавленное «Рапорт из осажденного города», представляет собой параболу. Неизвестно, кем в действительности являются осажденные, кто осаждает город и что за война идет. Это может быть и Троя, и Иерусалим, и другой, в том числе современный, город. Поэт сосредотачивает внимание, прежде всего, на этической задаче: не сдать город врагу. В этом отношении Троя Гомера и Троя Херберта — один и тот же моральный императив. Они побуждают к героической позиции и помещают Осажденный город в контекст мифа о стойкости. Однако осажденные города современной Европы имеют свою собственную историю, они реальны и, в отличие от Трои, не нуждаются в археологических раскопках. Живы и те, кто пережил травму осады.

Одной из величайших трагедий новейшей истории стала осада Алеппо (2016 г.) В этом сирийском городе, окруженном и бомбардируемом правительственными войсками президента Башара аль-Асада, захваченном вооруженными повстанцами различных оппозиционных группировок, находилось около 250 тыс. человек мирного населения. Город был превращен в руины, люди умирали от снарядов, голода, ран и болезней. О чудовищности этой трагедии и страданиях людей сообщали СМИ, мир заговорил о гуманитарной катастрофе в «сирийском котле», постоянно организуются благотворительные акции и медицинская помощь. Однако мартирологический дискурс

оказался подавлен политическим контекстом, комментаторы усматривают в сирийском конфликте закулисные игры разных государств. Перед нами достаточно универсальный сценарий, и необходимо время для того, чтобы историография реконструировала более или менее объективную картину этой войны. Культура тем не менее реагирует мгновенно, стремясь вызвать сопереживание и сочувствие к страданию отдельного человека. Почти сразу после окончания боев за город был опубликован польский перевод дневника, написанного францисканцем Ибрагимом Альсабахом и озаглавленного «Незадолго до рассвета. Сирия. Хроника времен войны и надежды из Алеппо» (2017). В том же году в Польше был издан перевод на шумевшей повести Сумии Суккар «Мальчик из Алеппо, который нарисовал войну» (2013). Гжегож Гортат в рамках инициированной издательством «Байка» («Сказка») благотворительной акции «Книга ДЛЯ СИРИИ» выпустил повесть для детей «Мое чудесное детство в Алеппо» (2017). На экраны вышел документальный фильм «Последние люди Алеппо» (реж. Ферас Файад, 2017), популярный рок-исполнитель Дарек Малейонек вместе с группой артистов организовал во Вроцлаве (июнь 2017 г.) большой концерт — «Дар Алеппо», — сборы от которого пошли на реконструкцию одной из сирийских больниц.

Все эти благородные акции закрепляют ментальные сценарии, то есть хранящиеся в коллективной памяти языковые способы воплощения тягостного опыта. Единичность страдания остается вне их рамок и проявляется лишь в автобиографических свидетельствах: дневниках, мемуарах, свидетельствах.

Ситуация осады как проблема специфического военного опыта современности может быть также описана при помощи категорий новейших (постструктуралистских) гуманитарных наук. Я имею в виду нарративизм и концепцию микроистории, *memory studies* и *trauma studies*, наконец новую компаративистику, базирующуюся на концепции трансляции как своеобразного *перевода опыта*. Я называю Тройю «компаративным узлом», поскольку сюжеты гомеровского эпоса порождают интертекстуальные фабулы многих позднейших текстов, а также потому, что опыт современной осады объединяет различные формы изображения (не только языкового) и не позволяет однозначно «развязать» аксиологический «узел». Компаративный узел связывает литературу с опытом психологическим и соматическим. Поэтому далее я ссылаюсь на самые разные описания осады, стремясь показать

ряд мнемотопосов⁴, то есть мест (травматической) памяти, и проанализировать единичность травмы. Используемая мною перспектива относится к руслу компаративного анализа, описанному Родольфом Гаше: «Корректное сопоставление имеет целью определить дифференцированность и уникальность того, что проявляется в сравнении. Однако более важной задачей, нежели сохранение индивидуальности и единичности сопоставляемых элементов в целом, является проявление единичности таким образом, чтобы уделить должное внимание случайности контекста, в условиях которого совершается сравнение. Цель сравнения — установление подлинной природы сопоставляемого, и она может быть достигнута в специфических условиях, в которых происходит сравнение»⁵.

«Специфические условия» в данном случае порождены вышеупомянутым методологическим контекстом новых гуманитарных наук, а также историческим и культурным опытом языковой общности, представителем которой я являюсь. Он включает в себя опосредованный (в силу принадлежности к определенному поколению) опыт военных невзгод, а также знакомство с польскими/иностранными текстами, в которых воплощается травма осады.

Для литературоведа представляет интерес также анализ механизмов героизации и подавления мартирологического дискурса в свидетельствах осады. История Алеппо еще ждет своих исследователей, я же обращаюсь к более отдаленным хронологически событиям истории Европы XX в. Первое — Ленинградская блокада, во время которой пострадало больше всего гражданского населения. Второе — осада Сараево, которая продолжалась дольше и происходила в конце века, после того, как Европа на протяжении половины столетия радовалась миру и ничто не предвещало новой войны. Накопившиеся многочисленные свидетельства обеих осад объединяет топос страдания мирного населения: мотивы голода, страха и смерти. Отличают же механизмы героизации и подавления мартирологического дискурса (о чем пойдет речь ниже).

Как героический, так и дегероизированный дискурс отражают состояние сознания социума. Они также могут — как справедливо утверждал Мишель Фуко — становиться орудием власти. Создавая «Илиаду», Гомер рассказывал миф, в задачи которого не входил поиск исторической истины: он выполнял сакральную и мировоззренческую функцию, помогал понять мир и универсальные человеческие ситуации.

Современная историография уделяет пристальное внимание антропологическому аспекту травматического опыта, здесь на помощь приходит так называемая микроистория. Джованни Леви объясняет ее задачи следующим образом: «Микроистория — это „историографическая практика”. Ее идея состоит в том, чтобы не жертвовать индивидуальным ради обобщения, стараясь одновременно не пренебрегать возможностью создания модели, поскольку единичные случаи могут иметь ключевое значение для того, чтобы высветить более общие феномены»⁶.

Рассмотрение истории современных осад в контексте микроисторических исследований показывает, что она оказывается предметом политической манипуляции. Доминирующие, официальные нарративы Ленинградской блокады и осады Сараево, базирующиеся на черно-белых идеологических схемах, вытесняют или в значительной степени редуцируют сложную правду о генезисе, ходе и последствиях трагедии. И лишь единичные свидетельства заставляют нас осознать, насколько многослойной является археология этой правды.

Блокада Ленинграда (население которого насчитывало к началу войны 3,5 млн человек), продолжавшаяся с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и унесшая — по различным оценкам — почти 2 млн жизней, была вписана в мифологию Великой Отечественной войны и лишь относительно недавно, в 1980-е гг., стала в России предметом критической переоценки. Героизация доминирующего нарратива явилась следствием инициированной Сталиным стратегии власти. В 1989 г. писатель Виктор Астафьев высказал на страницах «Правды» шокирующую мысль о том, что во избежание столь чудовищных жертв Ленинград следовало сдать. Однако приказом Сталина гражданскому населению было запрещено покидать город. После прихода к власти Никиты Хрущева было решено увековечить память о жертвах блокады — как солдатах, так и мирном населении: на Пискаревском кладбище, ставшем в 1941–1945 гг. местом массовых захоронений ленинградцев и воинов Ленинградского фронта, был в 1960 г. открыт мемориал и установлен памятник Матери-Родине. На гранитной стене позади монумента высечены слова: «Никто не забыт и ничто не забыто». В 1977 г. была опубликована* документальная «Блокадная книга» Алеся Адамовича и Даниила Гранина (польское издание —

* 1977 г. — дата первой публикации (с купюрами) «Блокадной книги» в журнале «Новый мир» (№ 12) (*прим. пер.*)

1988 г.) Она показывает город-жертву и город жертв массовой смерти, причиной которой — наряду со снарядами — стали голод и морозы. В 2011 г. в Польше вышел сборник «Осажденные»⁷, куда вошли автобиографические тексты трех женщин: «Блокадный дневник» Елены Кочиной, «Запретный дневник» Ольги Берггольц и «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург. В 2012 г. была опубликована парадокментальная «повесть» (так текст именуется во «Вступлении») Анны Рид, озаглавленная «Ленинград. Трагедия осажденного города 1941–1944»⁸. Все эти произведения относятся к направлению микроистории и служат противовесом для официального нарратива.

Ленинград был окружен многотысячной немецкой армией, которая вела регулярный артиллерийский обстрел и совершала авианалеты, однако наиболее эффективным методом уничтожения города оказалось блокирование поставок продовольствия. Ученые-советники Верховного главнокомандования вермахта (в лице Вильгельма Цигельмайера) произвели математические расчеты: сколько может продлиться осада при тех скудных пайках, которые выделяла жителям власть, и пришли к выводу, что недолго. Однако они не учли дух сопротивления и специфику сталинской биовласти, в парадигме которой человеческая жизнь имела иную ценность, нежели это могло представляться немецким стратегам.

В официальном героическом дискурсе тема голода была табуирована: статистические данные засекречены, за обнаружение любых документов — фотографий, фильмов, дневников — долгое время грозили репрессии. При этом во многих ленинградских семьях продолжалось действие механизма травмы, в том числе в форме постпамяти. Сталинская биополитика породила сталинградский синдром: тип *блокадного человека*, «осажденного, навсегда замкнувшегося в себе по воле истории, но прежде всего — вследствие собственного страха»⁹. Таким образом, на мартирологический ленинградский дискурс воздействуют два фактора подавления: идеология власти (в роли Виновника преступления) и психологический импульс вытеснения (со стороны Жертвы).

Ленинградская блокада продолжалась два с половиной года, в том числе две крайне суровые зимы. Город, расположенный между Финским заливом и Ладожским озером, не был блокирован полностью: существовал тридцатикилометровый путь по льду Ладожского озера, названный «Дорогой жизни». В 1943 г. Советской армии уда-

лось прорвать в немецкой линии осады участок шириной 15 км, через который по выстроенной в кратчайшие сроки железнодорожной ветке провозились продовольствие и боеприпасы. Однако постоянные артиллерийские обстрелы делали этот путь гораздо более опасным, чем «Дорога жизни», поэтому его называли «Коридором смерти».

Состояние голода было пограничным опытом, испытанием на человечность. Люди ели всё, даже вещи на первый взгляд несъедобные. Сорняки, очистки, рыбную муку, жмых и кору деревьев. «Бадаевскую землю», то есть почву из-под разбомбленных продовольственных складов Бадаева, пропитанную растопленными при пожаре крупой, мукой и сахаром — на черном рынке цены на нее были заоблачные, поскольку из этой земли делали «карамельки». Кисель, сваренный из обойного или столярного клея. Гуталин, казеин, смазку для танков, технические масла, олифу, косметические кремы, вазелин, всевозможные отходы. Варили брючные ремни. Люди массово страдали от цинги и пеллагры вследствие авитаминоза, от диареи, пищевых отравлений, голодных галлюцинаций. В пищу шли домашние животные и птицы, крысы и мыши. В книге «Ленинград» Анна Рид, ссылаясь на рапорты НКВД, описывает также чудовищные случаи каннибализма.

Голод нивелировал социальные границы, различия между полами, разрушал семейные отношения и порождал ненависть. Хлеб стал единственным *sacrum* блокадного человека — целью всех его жизненных усилий, объектом мечты, предметом воровства и грабежа. Зимой голоду сопутствовали сорокаградусные морозы. Не работал ни один вид транспорта, не действовали канализация и водопровод. Воздух был пронизан смрадом выливаемых из окон фекалий и гарью. Символом физической деградации осажденных стала фигура дистрофика¹⁰, «живого трупа», «доходяги». Дистрофия проявлялась сначала голодной агрессией или апатией, затем физическими изменениями тела — неестественными отеками, а вслед за этим крайним истощением, блеском кожи, изменением черт лица. Автор польской монографии Беата Павлетко пишет об отторжении социумом дистрофиков и трансформации сочувствия в жестокость. На лице дистрофика лежало очевидное клеймо приближающейся смерти, поэтому для окружающих он оказывался своего рода страшным зеркалом. Особенно обильный урожай собрала голодная смерть в осажденном Ленинграде зимой 1942 г. Массовая и анонимная, она перестала быть метафизически скандальной, утратила величие и сделалась нормой аномальной

повседневности. Она «отменила» погребальные ритуалы: из-за морозов умерших не хоронили, а оставляли в строго отведенных местах, завязывая на головах цветные тряпочки. С наступлением весны трупы убирали, но многим жителям уже не удавалось найти своих близких. Приостановленный или непроработанный траур закреплял травму, которую не под силу оказалось излечить даже послевоенному времени.

Осада Сараево началась 5 апреля 1992 г. и продолжалась до 29 февраля 1996 г. Погибло в ней около 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, раненых было около 56 тыс. Осаде предшествовал развал коммунистической Югославии, во главе которой с 1953 г. стоял президент Иосиф Броз Тито, объединявший балканские народы под лозунгом «братства». По сравнению со странами, входившими в орбиту Советского Союза, материальный уровень жителей Югославии был высоким, особенно в 1970-е гг. После смерти вождя в 1980 г. начали нарастать этнические конфликты. В 1991 г. Словения, Хорватия и Македония объявили о своей независимости, которая была признана Европейским Союзом. В марте 1992 г. в Боснии и Герцеговине прошел референдум, в результате которого практически единодушно было принято решение о создании нового государства. Голосование бойкотировали сербы, составлявшие около половины населения Боснии и Герцеговины. Результаты референдума международная общественность также признала. Однако референдум противоречил тогдашней конституции Союзной Республики Югославии. Боснийские сербы провозгласили свою собственную Республику Сербскую. В Боснии и Герцеговине началась война, сопровождаемая с обеих сторон убийствами, изнасилованиями, грабежами и этническими чистками. Югославская Народная Армия, а затем Армия Республики Сербской (18 тыс. солдат) окружила Сараево, расположенное в долине реки Миляцки, и с холмов обстреливала город из пулеметов, минометов и ракетных установок. Лидером осажденных был Алия Изетбегович, во главе боснийских сербов стоял Радован Караджич.

Сараево, население которого до войны насчитывало около 360 тыс. человек, представляло собой поликультурный город, в котором мирно сосуществовали мусульмане, православные, католики и иудеи. Смешанные браки составляли треть от общего количества. Во время осады каждый пятый защитник города был сербом. Многие жители покидали город, но на их место прибывали беженцы из других районов Боснии.

Снайперы стреляли по мирному населению. В городе не было армии, имелись только полицейские отделения, была также организована территориальная оборона, плохо оснащенная и вооруженная. Осажденное Сараево обстреливалось более 300 раз в день. Использовались разрывные пули. В 1994 г. при взрыве минометной мины на рынке Маркале погибло 70 мирных жителей, а 190 было ранено. В 1995 г. на том же самом месте от минометных мин погибли 43 человека. Лишь после этого, 30 августа 1995 г. НАТО и силы ООН атаковали сербские позиции вокруг Сараево. В октябре 1995 г. было заключено перемирие, а двумя месяцами позднее подписано Дейтонское соглашение, за соблюдением которого на протяжении двадцати лет должны были следить временно находящиеся в Боснии и Герцеговине стабилизационные силы НАТО.

Как мы видим, между блокадой Ленинграда и осадой Сараево есть существенные исторические и политические различия. У русских имелся совершенно конкретный враг: агрессор пришел из другой культуры, из другой части Европы и пользовался другим языком. Он был Чужим. Жители Сараево оказались окружены бывшими соотечественниками, то есть в этом смысле «своими», с которыми осажденные были связаны общей историей и общим языком. Однако понять суть не один век бурлившего «балканского котла», нам — тоже славянам! — очень трудно. В этой войне отсутствовали черно-белая схема мотивов и простая схема противостояния политического добра и политического зла. Единственное, что не подлежит сомнению — страдания осажденных.

Они страдали от голода. С июня 1992 г., когда был создан постоянный воздушный мост ООН, жители получали небольшие порции муки, масла, сушеной фасоли, риса, макаронных изделий и сухого молока. Изредка — сахар или мясные консервы. Протеиновые сухари помнили войну во Вьетнаме (судя по надписям на упаковках, они были изготовлены в 1967–1968 гг.). Как пишет Желько Вукович, «сараевское военное меню станет бесценным материалом для исследования границ человеческой выносливости»¹¹. Находчивые хозяйки экспериментировали: суп из крапивы, отбивные котлеты из сухарей, кофе из прожаренных зерен чечевицы, паштет из фасоли... На такой диете вполне можно существовать в течение нескольких дней или даже недель, но не на протяжении трех с половиной лет! Не хватало белка, витаминов, овощей и фруктов. Значительную часть гуманитарной помощи

перехватывали спекулянты, процветала торговля на черном рынке, где цены были просто заоблачные: за один банан просили около шести долларов, больше, чем составляла двухмесячная зарплата (у тех, кто ее вообще получал — в большинстве своем люди работали ради того, чтобы как-то отвлечься). Домашних животных не ели, но они, такие же голодные, как и бросившие их хозяева, бродили по улицам. Жители Сараево не умирали голодной смертью, хоть и теряли по 20 кг и более от первоначального веса — особенно больные, раненые и молодежь. Одежда висела мешком, потрепанная, нестиранная — в городе почти нигде не было электричества, воды и газа. Готовили на самодельных печках, отапливаемых срубленными деревьями, мебелью, обувью и книгами. Жители южной Европы переносили температуру +4 градуса зимой в квартирах так же тяжело, как жители блокадного Ленинграда — морозы, хотя, конечно, не было случаев обморожения. Не дошло дело и до каннибализма. Но, как и во время ленинградской блокады, пышным цветом расцвели спекуляция, воровство, доносительство, изнасилования, пропаганда относительно «пятой колонны», аресты и обыски. Орудовала мафия, перехватывавшая лекарства и продовольствие из гуманитарной помощи и взимавшая дань за возможность уйти из города по 800-метровому низкому (высота его составляла 1,5 м) тоннелю, собственноручно выкопанному жителями под международным аэропортом. Этим путем Сараево покинуло около 1 млн человек, были эвакуированы дети и молодежь, эмигрировавшие затем в Западную Европу, Америку, Канаду и Австралию.

Деградация личности в осажденном Сараево начиналась с другого уровня по сравнению с жителями сталинского государства. У них были автомобили, дома, квартиры, у некоторых дачи, хорошая одежда, купленная, например, в Италии, СВЧ, телевизоры, видеомагнитофоны и телефоны. Они жили в относительно обеспеченном государстве и до последней минуты не допускали мысли о войне, хотя видели по телевизору бомбардировки Дубровника. Европа, в отличие от 1940-х гг., не воевала. Жители Сараево не понимали причин и механизмов происходящего, не понимали стратегии своих лидеров, как водится, предлагавших народу официальную черно-белую картинку. Мало кто из сараевцев заподозрил, что они оказались заложниками большой — балканской, а также общеевропейской и мировой — политики. Западная Европа относительно быстро утратила интерес к боснийской войне, а «западноевропейские правительства без труда

убедили подавляющее большинство своих граждан в том, что участвовали в югославском конфликте исключительно из соображений гуманизма и альтруизма»¹².

Микроистория позволяет нарушить официальный мартирологический дискурс при помощи живого экзистенциального опыта. В различных свидетельствах отдельных людей человеческие страдания несопоставимы, хотя в них повторяется ряд мнемотопосов — мест болезненной памяти. В Ленинграде это очереди за хлебом, засыпанные снегом улицы, руины зданий, Бадаевские склады, «Дорога жизни» и «Коридор смерти». В Сараево — знаменитая «Аллея снайперов», пивоваренный завод, где во время осады находились единственные в городе источники чистой воды, рынок, туннель под аэропортом, горящая Национальная библиотека, а также очереди за хлебом. Нет мест, полностью безопасных и «приятных» (*loci amoeni*), все пространство представляет собой *locus horridus* — пространство смерти. Геопоэтика осады включает в себя повторяющиеся пространственные конструкции и риторические фигуры, порожденные универсальностью парадигмы опыта, блестяще воплощенной в стихотворении Збигнева Херберта «Рапорт из осажденного города».

Еще одну плоскость для сравнения положения осажденных представляют собой ментальные сценарии. Барбара Демик — американская журналистка, которая значительную часть войны провела среди жителей сараевской улицы Логавина, запечатлевая их судьбы, обращает внимание на попытки сохранить достоинство путем проявления заботы о человеческих связях и формах повседневной жизни. В одном доме она поражалась неизменно безупречно накрытому столу и цветам в вазе, в другом — тому, как изобретательно хозяева использовали небольшое количество воды для соблюдения гигиены, и повсюду — заботе женщин о своем внешнем виде. «Мы не хотим сдаваться, — говорила одна из жительниц Сараево, которая, прежде чем бежать в бомбоубежище, непременно красила губы. — Мы не хотим, чтобы они сказали, будто победили нас»¹³. В заметках Ольги Берггольц проскальзывает мотив любви, эротики, женской заботы о собственном теле, об одежде. Сохранять форму, не поддаваться сомнениям, бороться с апатией, беречь инстинкт самосохранения — этого требовала война от мирного населения.

Попытки подавить мартирологический дискурс совершали как осаждающие, так и осажденные. Когда немцы отрезали Ленинград от

остальной части страны, власти объявили по радио: «Близ Ленинграда пройдут артиллерийские учения. В городе будут слышны отголоски стрельбы. Не поддавайтесь панике». У собеседников Адамовича и Гранина, авторов «Блокадной книги», «имелись большие сомнения, стоит ли спустя столько лет возвращаться к болезненным воспоминаниям. Кое-кто сам подвергал цензуре свое повествование, подгоняя его под воцарившийся в советской культуре победный блокадный нарратив»¹⁴. После окончания блокады Сталин присвоил Ленинграду звание города-героя.

В политическом европейском дискурсе осада Сараево также является историей с однозначным распределением ролей, где ответственность лежит, во-первых, на сербах, во-вторых, на «лености» западного общественного мнения. Тем временем, Желько Вукович (журналист, переживший осаду Сараево) значительно усложняет эту картину, анализируя три крупнейших случая массовой гибели мирных жителей (в очереди за хлебом по улице Васы Мискина и — дважды — на рынке Маркале). Он обращает внимание на то, что в этих преступлениях не были обвинены во время гаагских процессов ни Караджич, ни Младич: международный трибунал последовательно обходил стороной данную проблему, несмотря на то, что сербская сторона уже после первого взрыва требовала провести экспертное расследование. Западные СМИ однозначно возлагали вину на сербов. Однако вскоре после этого Дэвид Оуэн в книге «Балканская одиссея» заявил, что рапорты представителей ООН не подтверждают, будто ответственность за взрывы несут сербы. Эти документы были скрыты от прессы. Вукович решительно проводит мысль о том, что страдания поликультурного города представляли собой элемент политической стратегии Изетбеговича, стремившегося к эскалации этнических конфликтов, а также к реализации идеи религиозного государства. Отключение электроэнергии, газа и воды, усиление хаоса, голода и тягот повседневного существования порождало ненависть к сербам. Кроме того, все взрывы произошли «в канун важных заседаний, во время которых международному сообществу предстояло принять решение о дальнейшем участии в боснийской войне»¹⁵.

Еще один способ подавления мартирологического дискурса используют сами жители города: сегодня они не хотят говорить о войне, хотя на многих домах в Сараево по-прежнему видны следы снарядов, а на улицах можно встретить множество военных инвалидов. На го-

родском рынке продаются предметы, сделанные из гильз снайперских патронов — всевозможные ручки, брелки, пепельницы и т.д.

Подавление и вытеснение военных страданий жителями Ленинграда и Сараево — последствия травмы. «Травматическое переживание невообразимо, невыразимо и незабываемо, поскольку глубоко запечатлено в памяти жертвы»¹⁶. Травма выжившего — психофизический синдром, существенным элементом которого является чувство вины в отношении погибших. Ту же самую травму можно распознать в реакциях жителей Сараево, не стремящихся к актуализации воспоминаний при разговоре об осаде.

Литература своими способами «лечит» травму выживания. Созданы многочисленные документы, стихи и повести на разных языках, посвященные осаде Сараево. Сравнение русских и боснийских свидетельств позволяет нам увидеть различие ментальных сценариев, а также различие способов проработки травмы двух блокад. В русской литературе редкостью остается предпринятая Михаилом Кононовым (р. 1948 г.) попытка соединения военной темы с гротеском и иронией в спорной для большинства читателей книге «Голая пионерка» (2001). В балканской литературе военный мартирологический дискурс дегероизируется посредством гротеска и иронии гораздо более смело. Последовательно использует такую поэтику Миленко Ергович («Серда поет в сумерках на Троицу», 2009). Один из самых интересных случаев — гротескно-ироническая проза Ненада Величковича («Кочевники», 1995; «Сахиб», 2001).

Официальный идеологизированный дискурс осады подвергается действию механизма мифологизации. Ролан Барт отмечал общественно-политическое значение мифа, который является «застывшим» сообщением, существующим вне критики и истолковывающим «ход событий выгодным для данного социального класса образом, представляя определенную картину прошлого как естественную и непроверяемую. При помощи мифов правящие элиты манипулируют представлениями, устраняя противоречия и упрощая действительность, чтобы укрепить *status quo*»¹⁷.

В Ленинграде и в Сараево был совершен *урбицид* — убийство города¹⁸. Переживания ленинградцев должны рассматриваться в контексте Второй мировой войны со всеми ее ужасами, героизм жителей Сараево — в контексте недоступной действительности безмятежной и сытой Европы. Страдания жертв обеих блокад ужасны и, быть может,

вообще не поддаются сравнению. Сравнить можно сценарии истории, событий, фактов. Это убеждение породило древнюю сентенцию: *historia magistra vitae est* (история — учитель жизни), справедливость которой наши современники ставят под сомнение. Один из наиболее пронизательных польских писателей, сам немало переживший Артур Мендзыжецкий говорил: «В университетские годы, а также позже я изучал различного рода истории, в том числе историю религии и историю конституционного права. Я также соприкоснулся с так называемой историей лично, в том числе во время войны — как и все прочие, как тысячи других людей. Однако не заметил никаких обстоятельств, которые свидетельствовали бы в пользу тезиса о том, что история является учителем жизни. Это коллективная, зачастую отвратительная биография обществ — и ничему эта летопись научить не может. Я бы даже сказал: лучше и не пытаться, ибо какой смысл, какой урок может проистекать из этой всемирной резни, из этого бесконечного круга самоуверенности, убийств и страданий, которые почти никогда не удавалось предотвратить благородными действиями праведников»¹⁹.

В контексте этих слов цветы и лампадки, возлагаемые представителями элит на могилы жертв всевозможных блокад, а также любой другой военной (или террористической) гекатомбы, представляются весьма рискованным символом...

Перевод И. Адельгейм

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Гомер. Илиада. СПб., 2008. С. 87.
- ² Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990. С. 88.
- ³ Ср. *Barańczak S.* Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. London, 1984.
- ⁴ См. *Assman J.* Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych. Warszawa, 2008. S. 91.
- ⁵ *Gasché R.* Porównawczo teoretyczna // *Niewspółmierność. Perspektywy nowocześniejszej komparatystyki.* Antologia pod red. T. Bilczewskiego. Kraków, 2010. S. 37.
- ⁶ *Lanaro P.* Microstoria. A venticinque anni da L'eredità immateriale // *Microstoria. A venticinque anni da L'eredità immateriale.* Red. P. Lanaro. Milano, 2011. P. 7. Цит. по: URL: <https://histmag.org/Mikrohistoria-otwieranie-nowych-horyzontow-9621> (дата обращения: 15.10.2017).

- ⁷ *Oblężone*. Warszawa, 2011.
- ⁸ *Reid A.* Leningrad. Tragedia oblężonego miasta 1941–1944. Kraków, 2012.
- ⁹ *Pawletko B.* Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych. Katowice, 2016. S. 18.
- ¹⁰ *Ibid.* S. 140.
- ¹¹ *Vuković Ž.* Zabijanie Sarajewa. Toruń, 2000. S. 40.
- ¹² *Vuković Ž.* Sarajewo — miasto atropa. Toruń, 2002. S. 12.
- ¹³ *Demick B.* W oblężeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy. Wołowiec, 2014. S. 127.
- ¹⁴ *Pawletko B.* Blokada Leningradu i jej reprezentacje w świetle innych doświadczeń granicznych. S. 47.
- ¹⁵ *Vuković Ž.* Sarajewo — miasto atropa. S. 138.
- ¹⁶ *Branach-Kallas A.* Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej. Toruń, 2014. S. 12.
- ¹⁷ *Ibid.* S. 9-10.
- ¹⁸ Автором этого определения якобы является Богдан Богданович, бывший мэр Белграда, чьи слова цитирует Д. Варшавский: *Warszawski D.* Wprowadzenie // *Karahasan D.* Sarajevska sevdalinka. Sejny, 1995. S. 9.
- ¹⁹ *Międzyrzecki A.* U progu XXI wieku. Kraków, 1996. S. 36.